

- Сейчас немного позднее того времени, когда вы просили меня разбудить вас, сэр. Вы пришли в себя не так быстро, как обычно, сэр.

Этот голос был голосом моего человека Сойера. Я резко сел в постели и огляделся по сторонам. Я был в своей подземной камере. Мягкий свет лампы, которая всегда горела в комнате, когда я занимал ее, освещал знакомые стены и мебель. У моей кровати со стаканом хереса в руке, который доктор Пиллсбери прописал мне при первом пробуждении от гипнотического сна, чтобы пробудить оцепеневшие физические функции, стоял Сойер.

"Лучше снимите это прямо сейчас, сэр", - сказал он, когда я непонимающе уставился на него. "Вы выглядите немного раскрасневшимся, сэр, и вам это нужно".

Я выпил спиртное и начал понимать, что со мной произошло. Это было, конечно, очень просто. Все, что касалось двадцатого века, было сном. Я только мечтал об этой просвещенной и беззаботной расе людей и их гениально простых учреждениях, о великолепном новом Бостоне с его куполами и шпилями, его садами и фонтанами и его всеобщим царством комфорта. Дружелюбная семья, которую я так хорошо узнал, мой радушный хозяин и наставник, доктор Литте, его жена и их дочь, вторая и более красивая Эдит, моя невеста, — они тоже были всего лишь плодом воображения.

В течение значительного времени я оставался в той позе, в которой это убеждение овладело мной, сидя в постели и глядя в пустоту, поглощенный воспоминаниями о сценах и происшествиях из моего фантастического опыта. Сойер, встревоженный моим видом, тем временем с тревогой расспрашивал, что со мной случилось. Наконец, разбуженный его назойливостью, чтобы узнать, что меня окружает, я с усилием взял себя в руки и заверил верного товарища, что со мной все в порядке. "Мне приснился необыкновенный сон, вот и все, Сойер, - сказал я, - самый необыкновенный сон".

Я машинально оделся, чувствуя легкое головокружение и странную неуверенность в себе, и села за кофе с булочками, которые Сойер обычно готовил мне, чтобы я подкрепилась перед выходом из дома. Рядом с тарелкой лежала утренняя газета. Я взял его, и мой взгляд упал на дату: 31 мая 1887 года. Конечно, с того момента, как я открыл глаза, я знал, что мой долгий и подробный опыт пребывания в другом столетии был сном, и все же было поразительно, что это так убедительно продемонстрировало, что мир был всего на несколько часов старше, чем когда я ложился спать.

Взглянув на оглавление в заголовке газеты, в которой рассматривались утренние новости, я прочитал следующее резюме:

ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛА.— Надвигающаяся война между Францией и Германией. Палата представителей Франции запросила новые военные кредиты, чтобы покрыть расходы Германии на увеличение ее армии. Вероятность того, что в случае войны будет вовлечена вся Европа. — Большие страдания среди безработных в Лондоне. Они требуют работы. Предстоят чудовищные демонстрации. Власти встревожены. — Массовые забастовки в Бельгии. Правительство готовится к подавлению вспышек. Шокирующие факты, касающиеся трудоустройства девушек на угольных шахтах Бельгии.— Массовые выселения в Ирландии.

- **ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА.**— Эпидемия мошенничества не поддается контролю. Растрата полумиллиона в Нью—Йорке. - Незаконное присвоение целевого фонда исполнителями. Сироты остались без гроша в кармане.— Хитроумная система краж банковским кассиром;

пропало 50 000 долларов.— Угольные бароны решают повысить цены на уголь и сократить добычу. — Спекулянты создают отличный пшеничный уголок в Чикаго.— Клика, поднимающая цены на кофе.— Огромные захваты земель западными синдикатами.— Разоблачения шокирующей коррупции среди чикагских чиновников. Систематический подкуп.—

Судебные процессы над олдерменами Будла, которые продолжатся в Нью—Йорке. - Крупные банкротства деловых домов. Опасения перед деловым кризисом.— Большое количество краж со взломом и воровства.— Женщина, хладнокровно убитая из-за своих денег в Нью-Хейвене.— Прошлой ночью в этом городе грабитель застрелил домовладельца.— Мужчина застрелился в Вустере, потому что не смог устроиться на работу. Многодетная семья осталась без средств к существованию.— Пожилая пара в Нью-Джерси скорее покончила с собой, чем отправилась в богадельню.— Прискорбная нищета среди наемных работниц в больших городах.— Поразительный рост неграмотности в Массачусетсе.— Требуется больше сумасшедших домов.—Адреса ко Дню украшения. Речь профессора Брауна о моральном величии цивилизации девятнадцатого века."

Я действительно очнулся в девятнадцатом веке; в этом не могло быть никаких сомнений. Этот краткий обзор новостей дня представлял собой полный микрокосм, вплоть до последнего безошибочного налета глупого самодовольства. То, что прозвучало после такого ужасного обвинения эпохи, как "Хроника одного дня" о всемирном кровопролитии, жадности и тирании, было проявлением цинизма, достойного Мефистофеля, и все же из всех, чьи глаза встретились с этим утром, я был, пожалуй, единственным, кто заметил этот цинизм, и но вчера я должен был воспринимать это не больше, чем другие. Это был тот странный сон, который все изменил.

Не знаю, на сколько времени после этого я забыл о том, что меня окружало, и снова погрузился в фантазии, перемещаясь в тот яркий мир грез, в тот славный город с его простыми комфортабельными домами и великолепными общественными дворцами. Вокруг меня снова были лица, не омраченные высокомерием или раболепием, завистью или жадностью, тревожной заботой или лихорадочным честолюбием, и величественные фигуры мужчин и женщин, которые никогда не знали страха перед ближним и не зависели от его благосклонности, но всегда, по словам той проповеди, которая все еще звучала в моих ушах., "встал прямо перед Богом".

С глубоким вздохом и чувством невосполнимой потери, не менее острой оттого, что это была потеря того, чего на самом деле никогда не было, я наконец очнулся от своих мечтаний и вскоре после этого вышел из дома.

Дюжину раз на пути от моей двери до Вашингтон-стрит мне приходилось останавливаться и брать себя в руки, в этом видении Бостона будущего была такая сила, что настоящий Бостон казался странным. Убожество и вонючий запах города поразили меня с того момента, как я вышел на улицу, как факты, которых я никогда прежде не наблюдал.

Но вчера, более того, казалось совершенно само собой разумеющимся, что некоторые из моих сограждан должны носить шелка, а другие лохмотья, что одни должны выглядеть сытыми, а другие голодными. Теперь, напротив, вопиющее неравенство в одежде и состоянии мужчин и женщин, которые задевали друг друга на тротуарах, шокировало меня на каждом шагу, а еще больше полное безразличие, которое преуспевающие проявляли к бедственному положению несчастных. Были ли это человеческие существа, которые могли созерцать убожество своих братьев, даже не изменившись в лице? И все же, все это время, я хорошо знал, что изменился именно я, а не мои современники. Я мечтал о городе, жители которого жили бы одинаково, как дети одной семьи, и поддерживали бы друг друга во всем.

Еще одной особенностью настоящего Бостона, которая предполагала необычайный эффект странности, отмечающий знакомые вещи, увиденные в новом свете, было преобладание рекламы. В Бостоне двадцатого века не было личной рекламы, потому что в ней не было необходимости, но здесь стены зданий, окна, развороты газет в каждой руке, сами тротуары, фактически все, что было видно, кроме неба, было покрыто рекламой. обращения отдельных лиц, которые под бесчисленными предложениями пытались привлечь других к своей поддержке. Какими бы разными ни были формулировки, суть всех этих обращений была одинаковой:

- Помоги Джону Джонсу. Не обращай внимания на остальное. Это мошенничество. Я, Джон Джонс, тот, кто нужен. Купи у меня. Наймите меня. Навести меня. Услышь меня, Джон Джонс. Посмотри на меня. Не заблуждайтесь, Джон Джонс - это тот самый человек, и никто другой. Пусть остальные голодают, но, ради Бога, помните Джона Джонса!"

То ли пафос, то ли моральная отталкиваемость зрелища больше всего поразили меня, так внезапно ставшего чужаком в своем собственном городе, я не знаю. Несчастные люди, я был тронут до слез, которые, поскольку они не научатся помогать друг другу, обречены быть нищими друг у друга от мала до велика! Этот ужасный вавилон бесстыдного самоутверждения и взаимного обесценивания, этот ошеломляющий шум противоречивого хвастовства, призывов и заклятий, эта колоссальная система наглого попрошайничества, что все это было, как не необходимость общества, в котором возможность служить миру в соответствии с его дарами, вместо того, чтобы быть обеспеченной каждому за человека, как за первый объект социальной организации, нужно было бороться!

Я добрался до Вашингтон-стрит в самом оживленном месте, остановился там и громко рассмеялся, вызвав возмущение прохожих. Хоть убей, я бы ничего не смог с этим поделать, с таким безумным чувством юмора я был тронут при виде бесконечных рядов магазинов по обе стороны улицы, вверх и вниз по ней, насколько хватало глаз, — их было множество, чтобы сделать зрелище еще более нелепым, в двух шагах отсюда. к продаже товаров того же рода. Магазины! магазины! магазины! мили магазинов! десять тысяч магазинов для распределения товаров, необходимых этому городу, который в моей мечте был снабжен всеми вещами с одного склада, поскольку они заказывались через один большой магазин в каждом квартале, где покупатель, не тратя времени и труда, находил под одной крышей весь мировой ассортимент в любой вариацию, какую он пожелает.

Там труд по распределению был настолько незначительным, что добавлял лишь едва заметную долю к стоимости товаров для потребителя. Стоимость производства - это практически все, что он заплатил. Но здесь простое распределение товаров, одна только обработка их добавляла четверть, треть, половину и более к стоимости. Все эти десять тысяч заводов должны быть оплачены, их арендная плата, их штат управляющих, их взводы продавцов, их десять тысяч комплектов бухгалтеров, рабочих и иждивенцев, все, что они потратили на рекламу самих себя и борьбу друг с другом, и платить должны потребители. Какой знаменитый процесс разорения нации!

Были ли эти серьезные мужчины, которых я видел вокруг себя, или дети, которые вели свой бизнес по такому плану? Могли ли они быть разумными существами, которые не видели глупости, заключающейся в том, что, когда продукт изготовлен и готов к использованию, так много его тратится впустую на доставку потребителю? Если люди едят ложкой, из которой половина содержимого просачивается между миской и ртом, вряд ли они станут сытыми?

Я уже тысячи раз проходил по Вашингтон-стрит и наблюдал за повадками тех, кто продавал товары, но мое любопытство к ним было таким, как будто я никогда раньше не ходил их дорогой. Я с удивлением обратил внимание на витрины магазинов, заполненные товарами,

расставленными с большим старанием и художественными приемами, чтобы привлечь внимание. Я видел, как толпы дам заглядывали внутрь, а владельцы с нетерпением наблюдали за действием приманки. Я зашел внутрь и заметил, как ястребиный взгляд ходит по этажам, наблюдая за бизнесом, не обращая внимания на продавцов, заставляя их выполнять свою задачу - побуждать клиентов покупать, покупать, покупать за деньги, если они у них есть, в кредит, если у них его нет, покупать то, чего они не хотят, больше чем они хотели, чего не могли себе позволить. Временами я на мгновение терял ключ к разгадке и был сбит с толку этим зрелищем.

Зачем все эти усилия, направленные на то, чтобы побудить людей покупать? Конечно, это не имело никакого отношения к законному бизнесу по распространению продуктов среди тех, кто в них нуждался. Конечно, было бы величайшим расточительством навязывать людям то, чего они не хотят, но что могло бы быть полезно другому. С каждым таким достижением нация становилась намного беднее. О чем думали эти клерки? Тогда я вспоминал, что они не выступали в роли дистрибьюторов, как те, что были в магазине, который я посетил в Бостоне мечты. Они служили не общественным интересам, а своим непосредственным личным интересам, и им было все равно, каким может быть конечный эффект их курса на общее процветание, если бы они только увеличили свои собственные запасы, ибо эти товары были их собственными, и чем больше они продавали, тем больше получали за них, тем больше их выигрыш.

Чем расточительнее были люди, чем больше ненужных им товаров, которые их можно было заставить купить, тем лучше для этих продавцов. Поощрять расточительность было прямой целью десяти тысяч магазинов Бостона. Чем расточительнее были люди, чем больше ненужных им товаров, которые их можно было заставить купить, тем лучше для этих продавцов. Поощрять расточительность было прямой целью десяти тысяч магазинов Бостона. Поощрять расточительность было прямой целью десяти тысяч магазинов Бостона.

И эти владельцы магазинов и клерки были ничуть не хуже, чем кто-либо другой в Бостоне. Они должны зарабатывать на жизнь и содержать свои семьи, и как им было найти для этого профессию, которая не требовала бы ставить свои личные интересы выше интересов других и общего блага? Их нельзя было просить голодать, пока они ждали такого порядка вещей, какой я видел в своем сне, в котором интересы каждого были идентичны интересам всех. Но, Боже милостивый! что удивительного, при такой системе, как эта, что касается меня, — что удивительного в том, что город был таким убогим, а люди так скверно одеты, и так много из них оборванных и голодных!

Через некоторое время после этого я перебрался в Южный Бостон и оказался среди производственных предприятий. Я бывал в этом квартале города сотни раз раньше, точно так же, как и на Вашингтон-стрит, но здесь, так же как и там, я впервые осознал истинное значение того, чему стал свидетелем. Раньше я гордился тем фактом, что, по фактическим подсчетам, в Бостоне насчитывалось около четырех тысяч независимых производственных предприятий; но именно в этой многочисленности и независимости я теперь разглядел секрет незначительного совокупного продукта их промышленности.

Если бы Вашингтон-стрит была похожа на переулок в Бедламе, это было бы зрелище настолько же меланхоличное, насколько производство является более важной функцией, чем распределение. Ибо эти четыре тысячи заведений не только не работали согласованно и только по этой причине находились в крайне невыгодном положении, но и, как будто это не повлекло за собой достаточно катастрофической потери электроэнергии, они использовали все свое мастерство, чтобы свести на нет усилия друг друга, молясь ночью и работая днем ради всеобщего блага, для разрушения предприятий друг друга.

Грохот колес и молотков, раздававшийся со всех сторон, был не гулом мирной промышленности, а лязгом мечей, которыми орудовали враги. Эти мельницы и магазины представляли собой множество фортов, каждый под своим флагом, его орудия были направлены на мельницы и магазины вокруг него, а саперы работали внизу, подрывая их.

В каждом из этих фортов настаивалась на строжайшей организации производства; отдельные банды работали под руководством единой центральной власти. Не допускалось никакого вмешательства и дублирования работы. У каждого была своя задача, и никто не сидел сложа руки. Каким пробелом в логических способностях, какой утраченной связью рассуждений объясняется неспособность признать необходимость применения того же принципа к организации национальной промышленности в целом, понять, что если отсутствие организации может снизить эффективность цеха, то это должно иметь последствия столь же катастрофичны в плане выведения из строя отраслей промышленности страны в целом, поскольку последние более обширны по объему и более сложны во взаимосвязи своих частей.

Люди были бы достаточно проворны, чтобы высмеять армию, в которой не было ни рот, ни батальонов, ни полков, ни бригад, ни дивизий, ни армейских корпусов — фактически, ни одной организационной единицы крупнее отделения капрала, ни одного офицера выше капрала, и все капралы равны по авторитету. И все же именно такой армией была обрабатывающая промышленность Бостона девятнадцатого века, армия из четырех тысяч независимых отрядов, возглавляемых четырьмя тысячами независимых капралов, у каждого из которых был отдельный план кампании.

Тут и там со всех сторон виднелись группы праздношатающихся людей, одни бездельничали потому, что не могли найти работу ни за какие деньги, другие потому, что не могли получить то, что считали справедливой ценой. Я обратился к некоторым из последних, и они рассказали мне о своих жалобах. Это было очень слабое утешение, которое я мог им дать. "Мне жаль тебя", - сказал я. "Вы, конечно, получаете достаточно мало, и все же меня удивляет не то, что отрасли, управляемые таким образом, не платят вам прожиточный минимум, а то, что они вообще в состоянии платить вам какую-либо заработную плату".

Возвращаясь после этого в полуостровный город, около трех часов я стоял на Стейт-стрит, разглядывая, как будто никогда раньше их не видел, банки, брокерские конторы и другие финансовые учреждения, от которых на Стейт-стрит в моем представлении не было и следа. Деловые люди, доверенные клерки и мальчики на побегушках толпились в банках и выходили из них, поскольку до закрытия оставалось всего несколько минут. Напротив меня находился банк, где я вел дела, и вскоре я перешел улицу и, войдя вместе с толпой, встал в углублении стены, наблюдая за армией клерков, обрабатывающих деньги, и за репликами вкладчиков в окошках кассиров. Пожилой джентльмен, которого я знал, директор банка, проходя мимо меня и заметив мою задумчивую позу, на мгновение остановился.

- Интересное зрелище, не правда ли, мистер Уэст, - сказал он. - Замечательный механизм; я сам нахожу его таким. Иногда мне нравится стоять и смотреть на это так же, как это делаете вы. Это стихотворение, сэр, поэма, вот как я это называю. Задумывались ли вы когда-нибудь, мистер Уэст, что банк - это сердце бизнес-системы? Из него и к нему, в бесконечном потоке и оттоке, течет жизненная кровь. Это вливается сейчас. Утром она снова потечет", - и, довольный своим маленьким тщеславием, старик, улыбаясь, пошел дальше.

Вчера я счел бы это сравнение достаточно уместным, но с тех пор я побывал в мире, несравненно более богатом, чем этот, в котором деньги были неизвестны и не имели мыслимого применения. Я узнал, что это имело применение в окружающем меня мире только потому, что работа по обеспечению средств к существованию нации, вместо того чтобы

рассматриваться как наиболее строго общественная и распространенная из всех забот и как таковая выполняться нацией, была отдана на откуп случайным усилиям отдельных людей.

Эта первоначальная ошибка привела к необходимости бесконечных обменов, чтобы обеспечить какое-либо общее распределение продуктов. Эти обмены осуществлялись — насколько справедливо, можно увидеть, пройдя пешком от кварталов многоквартирных домов до Бэк—Бэй - ценой армии людей, оторванных от производительного труда, чтобы управлять ими, с постоянными разрушительными поломками их механизмов и в целом развращающим влиянием на человечество, которое оправдывало свое описание, с древних времен считавшийся "корнем всего зла".

Увы бедному старому директору банка с его стихотворением! Он принял пульсацию абсцесса за биение сердца. То, что он назвал "замечательным механизмом", было несовершенным устройством для устранения ненужного дефекта, неуклюжим костылем калеки, сделанного своими руками.

После закрытия банков я час или два бесцельно бродил по деловому кварталу, а позже немного посидел на одной из скамеек на площади, находя интерес просто в наблюдении за проходящими мимо толпами, как бывает, когда изучаешь население незнакомого города, такого странного со вчерашнего дня стали ли для меня моими согражданами и их обычаями. Тридцать лет я прожил среди них, и все же, казалось, никогда раньше не замечал, какими осунувшимися и встревоженными были их лица, как у богатых, так и у бедных, утонченные, пронизательные лица образованных так же, как и унылые маски невежд. И хорошо, что так оно и было, потому что теперь я видел, как никогда прежде, так ясно, что каждый, проходя, постоянно оборачивался, чтобы уловить шепот призрака у своего уха, призрака Неуверенности.

"Никогда не делай свою работу так хорошо, — шептал призрак. - Вставай рано и трудись допоздна, грабь хитро или служи верой и правдой, ты никогда не будешь знать безопасности. Вы можете быть богаты сейчас и все равно в конце концов прийти к бедности. Никогда не оставляйте столько богатства своим детям, вы не сможете купить гарантию того, что ваш сын не будет слугой вашего слуги или что вашей дочери не придется продавать себя за хлеб".

Проходивший мимо мужчина сунул мне в руку рекламную открытку, в которой излагались достоинства какой-то новой схемы страхования жизни. Этот инцидент напомнил мне о единственном устройстве, жалком в своем признании всеобщей потребности, которую оно так плохо удовлетворяло, которое предлагало этим усталым и затравленным мужчинам и женщинам хотя бы частичную защиту от неопределенности. Я вспомнил, что таким образом те, кто уже состоятелен, могли бы приобрести шаткую уверенность в том, что после их смерти их близкие не будут, по крайней мере какое-то время, растоптаны ногами людей.

Но это было все, и это было только для тех, кто мог хорошо за это заплатить. Какое представление было возможно у этих несчастных обитателей земли Измаила, где рука каждого была направлена против другого, а рука каждого - против каждого другого, об истинном страховании жизни, каким я видел его у людей этой страны грез, каждый из которых, просто в силу своего членства в национальной семье была гарантирована от любой нужды политикой, подписанной ста миллионами соотечественников.

Спустя некоторое время после этого я, помнится, мельком увидел себя стоящим на ступеньках здания на Тремонт-стрит и смотрящим на военный парад. Мимо проходил полк. Это было первое зрелище за тот унылый день, которое вызвало у меня какие-либо другие эмоции, кроме удивления, жалости и изумления. Здесь, наконец, были порядок и разум, демонстрация того,

чего может достичь разумное сотрудничество. Люди, которые стояли и смотрели на это с сияющими лицами, — может быть, это зрелище представляло для них не более чем захватывающий интерес?

Могли ли они не видеть, что именно их идеальная согласованность действий, их организация под единым контролем сделали этих людей той огромной машиной, которой они были, способной победить толпу, в десять раз более многочисленную? Видя это так ясно, могли ли они не сравнить научный подход, с помощью которого нация вступила в войну, с ненаучным подходом, с помощью которого она приступила к работе? Разве они не задались бы вопросом, с каких это пор убийство людей стало задачей настолько более важной, чем их кормление и одежда, что только обученная армия должна считаться адекватной первому, в то время как второе предоставлено толпе?

Уже смеркалось, и улицы были запружены рабочими из магазинов, лавчонок и мельниц. Увлекаемый более сильным течением, я обнаружил, что, когда начало смеркаться, нахожусь посреди сцены убожества и человеческой деградации, которую мог представить только многоквартирный район Саут-Коув. Я видел безумную растрату человеческого труда; здесь я увидел в ужасающей форме нужду, порожденную расточительством.

Из черных дверных проемов и окон лежбищ со всех сторон врывались порывы зловонного воздуха. Улицы и переулки провоняли сточными водами междупалубного корабля работорговцев. Проходя мимо, я мельком видел бледных младенцев, задышающихся от зловония, женщин с безнадежными лицами, изуродованных лишениями, не сохранивших в себе никаких женских черт, кроме слабости, в то время как из окон смотрели девушки с медными бровями. Подобно голодающим бандам беспородных псов, наводняющим улицы мусульманских городов, стаи полуодетых озверевших детей наполняли воздух криками и проклятиями, когда они дрались и кувыркались среди мусора, которым были завалены дворы.

Во всем этом не было ничего нового для меня. Я часто проезжал через эту часть города и осматривал ее достопримечательности с чувством отвращения, смешанного с неким философским изумлением перед теми крайностями, которые смертные могут вынести и все еще цепляться за жизнь. Но не только в том, что касалось экономических безумств этого века, но и в том, что касалось его моральных мерзостей, пелена спала с моих глаз после того видения другого столетия. Я больше не смотрел на жалких обитателей этого Ада с черствым любопытством, как на существ, едва ли похожих на людей. Я видел в них своих братьев и сестер, своих родителей, своих детей, плоть от моей плоти, кровь от моей крови. Гноящаяся масса человеческого убожества вокруг меня оскорбляла теперь не только мои чувства, но и пронзала мое сердце, как нож, так что я не мог сдерживать вздохов и стонов. Я не только видел, но и ощущал своим телом все, что видел.

Вскоре, также, когда я повнимательнее присмотрелся к окружавшим меня несчастным существам, я понял, что все они были совершенно мертвы. Их тела были множеством живых гробниц. На каждом жестоком челе было ясно написано иконическое выражение души, умершей внутри.

Когда я, охваченный ужасом, переводил взгляд с головы одного мертвеца на голову другого, на меня снизошла странная галлюцинация. Подобно колеблющемуся полупрозрачному лицу духа, наложенному на каждую из этих жестоких масок, я увидел идеальное, возможное лицо, которое было бы реальным, если бы разум и душа жили. Только когда я увидел эти призрачные лица и невыразимый упрек, который читался в их глазах, мне открылась вся жалость к причиненному разрушению. Я был тронут раскаянием, как сильной агонией, ибо я был одним из тех, кто пережил, что все это должно было случиться.

Я был одним из тех, кто, хорошо зная, что это так, не желал ничего слышать или быть вынужденным много думать о них, но продолжал вести себя так, как будто их не было, ища собственного удовольствия и выгоды. Поэтому теперь я обнаружил на своих одеждах кровь этого великого множества задушенных душ моих братьев. Голос их крови зывал ко мне из-под земли. Каждый камень вонючих тротуаров, каждый кирпич чумных лежбищ обрел язык и кричал мне вслед, когда я убегал: что ты сделал со своим братом Авелем?

У меня нет четких воспоминаний о чем-либо после этого, пока я не обнаружил, что стою на резных каменных ступенях великолепного дома моей невесты на Коммонуэлс-авеню. В суматохе своих мыслей в тот день я почти ни разу не подумал о ней, но теперь, повинуясь какому-то бессознательному импульсу, мои ноги сами нашли знакомый путь к ее двери. Мне сказали, что семья была на ужине, но было разослано сообщение, что я должен присоединиться к ним за столом. Помимо семьи, я застал здесь нескольких гостей, и все они были мне знакомы. Стол сверкал тарелками и дорогим фарфором. Дамы были роскошно одеты и носили драгоценности королев. Сцена была воплощением дорогостоящей элегантности и расточительной роскоши. Компания была в отличном расположении духа, раздавался обильный смех и нескончаемый поток шуток.

Для меня это было так, как если бы, блуждая по месту рока, при виде которого моя кровь наполнилась слезами, а мой дух был настроен на печаль, жалость и отчаяние, я случайно оказался на какой-нибудь поляне с веселой компанией гуляк. Я сидел молча, пока Эдит не начала расспрашивать меня о моем мрачном виде, что меня беспокоит? Остальные вскоре присоединились к шутливому нападению, и я стал мишенью для колкостей и подколов. Где я был и что я видел такого, что сделало из меня такого зануду?

"Я был на Голгофе", - наконец ответил я. "Я видел человечество, висящее на кресте! Неужели никто из вас не знает, на какие достопримечательности смотрят сверху солнце и звезды в этом городе, что вы можете думать и говорить о чем-то другом? Разве вы не знаете, что рядом с вашими дверями великое множество мужчин и женщин, плоть от плоти вашей, живут жизнью, которая представляет собой одну агонию от рождения до смерти? Слушай! их жилища так близко, что, если вы приглушите свой смех, вы услышите их жалобные голоса, жалобный плач малышей, кормящих грудью нищету, хриплые проклятия мужчин, погрязших в нищете и наполовину превратившихся в зверей, ворчание армии женщин, продающих себя за хлеб. Чем вы заткнули свои уши, чтобы не слышать этих заунывных звуков? Что касается меня, то я больше ничего не слышу."

За моими словами последовала тишина. Чувство жалости охватило меня, когда я говорил, но когда я оглядел собравшихся, я увидел, что они отнюдь не были взволнованы, как я, их лица выражали холодное и суровое изумление, смешанное у Эдит с крайним унижением, у ее отца - с гневом. Дамы обменивались возмущенными взглядами, в то время как один из джентльменов поднял свой бинокль и изучал меня с видом ученого любопытства.

Когда я увидел, что вещи, которые были для меня столь невыносимы, нисколько их не тронули, что слова, от которых у меня таяло сердце, только оскорбили их вместе с говорившим, я сначала был ошеломлен, а затем охвачен отчаянной болезнью и слабостью в сердце. Какая надежда была бы у несчастных, у всего мира, если бы вдумчивые мужчины и нежные женщины не были тронуты подобными вещами! Потом я спохватился, что это, должно быть, из-за того, что я неправильно выразился. Без сомнения, я плохо изложил дело. Они были злы, потому что думали, что я ругаю их, хотя, видит Бог, я просто думал об ужасе этого факта, не пытаюсь возложить на себя ответственность за это.

Я сдержал свой пыл и постарался говорить спокойно и логично, чтобы исправить это

впечатление. Я сказал им, что не хотел обвинять их, как будто они или богатые в целом ответственны за страдания мира. Действительно, было правдой, что излишек, который они растратили впустую, в противном случае принес бы облегчение многим горьким страданиям. Эти дорогие яства, эти богатые вина, эти великолепные ткани и сверкающие драгоценности представляли собой выкуп за многие жизни. Воистину, они были не без вины тех, кто расточает в стране, пораженной голодом. Тем не менее, все растраты всех богатых, если бы они были сохранены, лишь в малой степени помогли бы излечить бедность мира. Делить было так мало, что даже если бы богатые пошли делиться с бедными, осталась бы лишь обычная еда в виде коржей, хотя тогда они были бы очень сладкими благодаря братской любви.

Глупость людей, а не их жестокосердие, была главной причиной нищеты в мире. Не преступление человека или какого-либо класса людей сделало расу такой несчастной, а отвратительная, чудовищная ошибка, колоссальный просчет, омрачающий мир. И затем я показал им, как четыре пятых человеческого труда было совершенно потрачено впустую из-за взаимной войны, отсутствия организации и согласия среди рабочих. Стремясь сделать этот вопрос предельно ясным, я привел пример засушливых земель, где почва давала средства к жизни только при бережном использовании водотоков для орошения.

Я показал, как в таких странах самой важной функцией правительства считалось следить за тем, чтобы вода не расходовалась впустую из-за эгоизма или невежества отдельных людей, поскольку в противном случае был бы голод. С этой целью его использование было строго регламентировано и систематизировано, и отдельным лицам по их простому капризу не разрешалось портить его, отводить в сторону или каким-либо образом вмешиваться в него.

Я объяснил, что труд людей был тем источником удобрения, который один делал землю пригодной для жизни. В лучшем случае это был всего лишь скудный ручеек, и его использование требовалось регулировать с помощью системы, которая расходовала бы каждую каплю с максимальной пользой, если бы мир был обеспечен в изобилии. Но насколько далека от какой-либо системы была реальная практика! Каждый человек растрачивал драгоценную жидкость по своему усмотрению, движимый только одинаковыми мотивами: спасти свой урожай и испортить урожай соседа, чтобы его можно было продать лучше. То ли от жадности, то ли от злобы одни поля были затоплены, в то время как другие выжжены, и половина воды полностью ушла впустую. В такой стране, хотя немногие силой или хитростью могут приобрести средства к роскоши, уделом огромной массы должна быть бедность, а слабых и невежественных - горькая нужда и постоянный голод.

Пусть только страдающая от голода нация возьмет на себя функцию, которой она пренебрегла, и отрегулирует для общего блага течение животворящего потока, и земля расцветет, как единый сад, и никто из ее детей не будет испытывать недостатка ни в чем хорошем. Я описал физическое счастье, умственное просветление и моральный подъем, которые затем войдут в жизнь всех людей. С жаром я говорил о том новом мире, благословленном изобилием, очищенном справедливостью и подслащенном братской добротой, мире, о котором я действительно только мечтал, но который так легко мог бы стать реальностью.

Но когда я ожидал, что теперь лица вокруг меня наверняка осветятся эмоциями, похожими на мои, они стали еще более мрачными, злыми и презрительными. Вместо энтузиазма дамы выказывали только отвращение и страх, в то время как мужчины перебивали меня криками осуждения и презрения. "Безумец!" "Заразный тип!" "Фанатик!", "Враг общества!" - таковы были некоторые из их криков, и тот, кто до этого протягивал мне свой бинокль, воскликнул: "Он говорит, что у нас больше не должно быть бедных. Ха! ха!"

"Выставьте этого парня вон!" - воскликнул отец моей невесты, и по сигналу мужчины вскочили

со своих стульев и направились ко мне.

Мне казалось, что мое сердце разорвется от боли, когда я обнаружу, что то, что было для меня таким простым и таким важным, было для них бессмысленным, и что я был бессилен изменить это. Мое сердце было таким горячим, что я думал растопить айсберг своим сиянием, но в конце концов обнаружил, что всепоглощающий холод сковывает мои собственные жизненно важные органы. Я испытывал к ним не враждебность, когда они окружали меня, а только жалость к ним и ко всему миру.

Несмотря на отчаяние, я не мог сдаться. И все же я боролся с ними. Слезы хлынули у меня из глаз. В своей горячности я стал нечленораздельным. Я тяжело дышал, я всхлипывал, я стонал и сразу же после этого обнаружил, что сижу прямо на кровати в своей комнате в доме доктора Лита, а утреннее солнце светит мне в глаза через открытое окно. Я задышался. Слезы текли по моему лицу, и я дрожала каждым нервом.

Как беглому каторжнику, которому снится, что его поймали и привели обратно в его темную и вонючую темницу, и он открывает глаза, чтобы увидеть раскинувшийся над ним небесный свод, так было и со мной, когда я понял, что мое возвращение в девятнадцатый век было сном и моим присутствием в двадцатом веке такова была реальность.

Жестокие зрелища, свидетелем которых я был в своем видении и которые так хорошо мог подтвердить опытом своей прошлой жизни, хотя они, увы! когда-то это было и должно, оглядываясь назад, до скончания веков растрогать сострадательных до слез, но, слава Богу, навсегда ушло в прошлое. Давным-давно угнетатель и поработаемые, пророк и насмешник превратились в прах. На протяжении многих поколений слова "богатый" и "бедный" были забытыми словами.

Но в тот момент, когда я все еще с невыразимой благодарностью размышлял о величии спасения мира и о своей привилегии лицезреть его, меня внезапно, как ножом, пронзила острая боль стыда, раскаяния и удивленного самобичевания, которая склонила мою голову на грудь и заставила меня пожелать могилы. Он спрятал меня вместе с моими товарищами от солнца. Ибо я был человеком того прежнего времени. Что я сделал, чтобы помочь в освобождении, чему я теперь осмеливался радоваться?

Я, живший в те жестокие, бессмысленные дни, что я сделал, чтобы положить им конец? Я был так же безразличен к несчастью своих братьев, так же цинично не верил в лучшее, так же одурманенно поклонялся Хаосу и Старой Ночи, как и любой из моих собратьев. Что касается моего личного влияния, то оно было направлено скорее на то, чтобы помешать, чем помочь продвижению избирательных прав в гонке, которая уже тогда готовилась. Какое право имел я приветствовать спасение, которое порицало меня, радоваться дню, над рассветом которого я насмехался?

"Лучше для тебя, лучше для тебя, - зазвенел голос внутри меня, - если бы этот злой сон был реальностью, а эта прекрасная реальность - сном; лучше твоя роль в защите распятого человечества перед насмешливым поколением, чем здесь, пить из колодцев, которые ты не копал, и есть плоды деревьев, чьи возделыватели ты побил камнями"; и мой дух ответил: "Воистину, лучше".

Когда, наконец, я поднял склоненную голову и выглянул из окна, Эдит, свежая, как утро, вышла в сад и собирала цветы. Я поспешил спуститься к ней. Преклонив перед ней колени, уткнувшись лицом в пыль, я со слезами признался, как мало я стоил того, чтобы дышать воздухом этого золотого века, и как бесконечно меньше - чтобы носить на груди его

непревзойденный цветок. Счастлив тот, кто в таком отчаянном деле, как мое, находит столь милосердного судью.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: перевод редактируется

<http://tl.rulate.ru/book/83668/2818964>